

Лицо бородатое, мощь исполина.
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!
Но если б грозила беда и невзгода
И рук для борьбы захотела свобода,
Сейчас полечу на защиту народа.
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода!
А если б пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне.
Но и миг предсмертный - в спокойной кручине
Не дай мне остынуть без звука святого,
Товарищ, шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!»

Но плохо отзывались чудные стихи и чудные мысли в сердцах моих товарищей. Они слушали, и только. Я рос и развивался один. В эту пору еще одна повесть Тургенева глубоко запала мне в душу и на всю жизнь наложила свой отпечаток. Это было «Накануне».

«Накануне» вышло в начале 1860 года. Наступила весна, кончились у нас экзамены, и мы жили тогда в лазарете. Помню, я начал читать «Накануне» под вечер, сидя у раскрытого окна, выходящего на наш плац. Напротив, через плац, стоял маленький домик, где жил один из наших дежурных офицеров со своими двумя молоденькими племянницами.

Я читал «Накануне» всю ночь не отрываясь. Инсаров, болгарский патриот, поглощенный одной идеей - мыслью об освобождении своей родной страны, произвел на меня сильное впечатление. Эта же повесть определила с ранних лет и мое отношение к женщине.

Из посещения фабрик я вынес тогда же любовь к могучим и точным машинам. Я понял поэзию машин, когда видел, как гигантская паровая лапа, выступавшая из лесопильного завода, вылавливает бревно из Невы и плавно подкладывает его под машину, которая распиливает ствол на доски; или же смотрел, как раскаленная докрасна железная полоса, пройдя между двумя цилиндрами, превращается в рельс. В современных фабриках машина убивает личность работника. Он превращается в пожизненного раба известной машины и никогда уже не бывает ничем иным. Но это лишь результат неразумной организации, и виновна в этом случае не машина. Чрезмерная работа и бесконечная ее монотонность одинаково вредны с ручным орудием, как и с машиной. Если же уничтожить переутомление, то вполне понятно удовольствие, которое может доставить человеку сознание мощности его машины, целесообразный характер ее работы, изящность и точность каждого ее движения. Ненависть, которую питал к машине Вильям Моррис, доказывает только, что, несмотря на его могучий талант, мощностность и красота машин были ему недоступны.

Музыка тоже играла важную роль в моем развитии. Она являлась для меня еще большим источником наслаждения и энтузиазма, чем поэзия. В то время русская опера почти еще не существовала; но то был период расцвета итальянской оперы. В Петербурге она была чрезвычайно популярна и насчитывала немало крупных талантов. Когда заболела примадонна Бозио, тысячи людей, в особенности молодежи, простаивали до поздней ночи у дверей гостиницы, чтобы узнать о здоровье дивы. Она не была хороша собой, но казалась такой прекрасной, когда пела, что молодых людей, безумно в нее влюбленных, можно было считать сотнями. Когда Бозио умерла, ей устроили такие похороны, каких Петербург до тех пор никогда не видел.

Весь Петербург делился тогда на два лагеря: на поклонников итальянской оперы и на завсегда-таев французского театра, где уже тогда зарождалась гнилая оффенбаховщина, через несколько лет заразившая всю Европу. Наш класс тоже разделился на два лагеря, и я принадлежал к итальянцам. Нам не позволялось посещать кресла или галереи, а ложи в итальянской опере разбирались за несколько месяцев до начала сезона по подписке, а в некоторых домах абонементы передавались даже по наследству. Нам оставалось, таким образом, пробираться в оперу по субботам на верхнюю галерею, где мы сучивались «в проходе» и парились как в бане. Чтобы скрыть наши бросающиеся в глаза мундиры, мы должны были стоять даже там, несмотря на духоту, в застегнутых черных ватных шинелях с меховыми воротниками. Удивительно, как это никто из нас не схватил воспаления легких,